

Дмитрий
Мережковский

БОЛЬНАЯ РОССИЯ

УДК 82-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)
М52

Мережковский, Д.

М52 Большая Россия / Д. Мережковский. — М. : T8RUGRAM,
2018. — 134 с.

ISBN 978-5-521-78912-2

Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) – русский писатель, поэт, литературный критик, религиозный мыслитель, творчество которого входит в сокровищницу мировой литературы.

«Большая Россия» – удивительная книга, в которую вошли историко-религиозные статьи, объединённые общей тематикой. Размышления об искусственности российской действительности, рассуждения о религии и во многом пророческие очерки автора будут интересны широкому кругу читателей.

УДК 82-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)
ВІС FC
BISAC FIC000000

СОДЕРЖАНИЕ

ЗИМНИЕ РАДУГИ	5
КОНЬ БЛЕДНЫЙ	17
ГОЛОВКА ВИСНЕТ	39
СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ И СЕРДЦЕ ЗВЕРИНОЕ	53
АРАКЧЕЕВ И ФОТИЙ	67
СВИНЬЯ МАТУШКА	81
ЗЕМЛЯ ВО РТУ	109
КОГДА ВОСКРЕСНЕТ	125

ЗИМНИЕ РАДУГИ

9 января 1905 года над Петербургом видны были радуги. Великие события того дня связывались в народной молве с этим небесным знамением.

Из будущей летописи

У меня, должно быть, лихорадка. Не удивляйтесь же, что слова мои будут похожи на бред. Кто нынче не бредит? Вы к этому привыкли. И если все чаще слова здравомыслящих напоминают бред, то, может быть, в бреду окажется крупица смысла...

Ну, довольно. Предисловия вообще бесполезны. Лучше сразу начать. Только вот не знаю, как бы повежливее.

Моя ежедневная прогулка — в Летнем саду, мимо домика Петра Великого. Там на старых липах множество вороньих гнезд. Когда убийцы Павла I проходили ночью по средней аллее сада к Михайловскому замку, то поднялось такое карканье, что заговорщики боялись, как бы не проснулся спящий император. Вороны и надо мною каркают. Есть легенда, что эта вещая птица живет столетия. Может быть, некоторые из них помнят Петра.

И вот, в последнее время мне чудится в их карканье злое пророчество, то самое, за которое в 1703 году, при основании города, били кнутом, ссылали на галеры, рвали ноздри и резали языки: «Петербургу быть пусту».

«Три старых рыбака, живших до основания Петербурга в местах, где возник потом город, рассказывали в 1721 году, что за тридцать лет перед тем было такое

наводнение, что вся страна до Ниеншанца была потоплена и что подобные бедствия повторяются почти каждые пять лет. Поэтому первобытные жители невиского побережья никогда не строили там прочных жилищ, но небольшие рыбацьи хижины.

Как только, по приметам, ожидалась большая буря, крестьяне ломали свои хижины, а бревна и доски складывали, как плоты, и привязывали к деревьям; сами же, в ожидании убыли воды, спасались на Дудерову гору» («Петербургская старина» академика Пекарского).

Веря этим пророчествам, русские люди, насильно загнанные в «Парадиз», говорили, что здесь жить нельзя, что город будет снесен водою или провалится в трясину.

Осенью 1905 года я как-то раз вечером шел по Невскому. Вдруг все электрические фонари потухли. Наступила темнота, словно черное небо обрушилось. Подростки-хулиганы засвистели пронзительно, и раздался звон разбитого стекла. По направлению от Аничкова моста к Литейной бежали черные толпы. Ковыляющая старушка-барыня в съехавшей набок шляпе закричала мне в лицо: «Не ходите, там стреляют!» И мне, действительно, слышались или почудились выстрелы. Было страшно, как во сне. И вспомнился мне сон. Впрочем, снов рассказывать не следует. Только два слова. Черный облик далекого города на черном небе: груды зданий, башни, купола церквей, фабричные трубы. Вдруг по этой черноте забежали огни, как искры по куску обугленной бумаги. И понял я или кто-то мне сказал, что это взрывы исполинского подкопа. Я ждал, я знал, что еще миг — и весь город взлетит на воздух, и черное небо обагрится исполинским заревом.

БОЛЬНАЯ РОССИЯ

Я уехал в том же году, когда уже почти все было кончено; вернулся этой осенью, в самое сердце реакции, в самое сердце холеры. Ни той, ни другой не видно конца. Каждый день на страницах «Нового времени» печатается *memento mori*:¹ «Заболело 17 человек, умерло 9». Кажется, на всем Петербурге, как на склянке с ядом, появилась мертвая голова. Сведущие люди уверяют, будто бы холера никогда не кончится и устье Невы сделается необитаемым, как устье Ганга: «Петербургу быть пусту».

Но ни холера, ни реакция, ни чудовищные слухи о самоубийцах, об «одиноких», о «кошкодавах», ни даже эта страшная тоска на лицах, — о, конечно, все-российская, но которая именно здесь, в Петербурге, достигает каких-то небывалых пределов безумия (никто не замечает своего и чужого безумия, кажется, потому, что все вместе потихоньку сходят с ума), — нет, не все это, а что-то иное заставляет меня испытывать вновь знакомое «чувство конца», видеть в лице Петербурга то, что врачи называют *facies Hippocratica*,² «лицо смерти».

«Я замечал, — говорит Печорин в лермонтовском „Фаталисте“, — что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы».

Главное, что поразило меня в Петербурге, это именно то, что лицо его ничуть не изменилось. Петербург тогда и теперь — как две капли воды. Правда, весь он осунулся как-то, одряхлел, постарел собачьей старо-

¹ Помни о смерти (лат.).

² Лицо Гиппократовского (лат.).

стью. Но ничего не убавилось и не прибавилось. Только электрические трамваи, кинематографы, да прозрачный двойник московского Василия Блаженного. Но ведь этого мало даже для октябристов и мирнообновленцев.

Надо прожить несколько лет в Европе, чтобы почувствовать, что Петербург все еще не европейский город, а какая-то огромная каменная чухонская деревня. Невытанцевавшаяся и уже запакошенная Европа. Ежели он и похож на город иностранный, то разве в том смысле, как лакей Смердяков «похож на самого благородного иностранца». Как в частушке поется:

Если барин при цепочке,
Это значит — без часов.
Если барин при галошах,
Это значит — без сапог.

Да, Петербург не изменился, и в этой-то неизменности, неизменяемости — «лицо смерти».

Шлепая по невероятной, черно-коричневой жиже среди невероятного, черно-желтого тумана, я думаю: точь-в-точь, как три года назад; три года — три века; нам казалось, что произошли в них большие события, чем в смутное время, чем петровская реформа и двенадцатый год. Но вот оказывается, что ничего не произошло. Было, как бы не было. Да уж полно, было ли? Все голоса Петербурга вопят: не было! Но я знаю, помню. Мне надо сойти с ума, чтобы забыть. Тут-то и начинается мой бред, мой ужас, мое «чувство конца». И тут же вспоминается мне Достоевский:

БОЛЬНАЯ РОССИЯ

«Петербургское утро, гнилое, сырое и туманное... Мне сто раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза: а что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, — не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, поднимется с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди него, пожалуй, для красоты, бронзовый Всадник на жарко дышащем, загнанном коне?... Вот они все кидаются и мечутся, а почему знать, может быть, все это чей-нибудь сон? Кто-нибудь вдруг проснется, кому все это грезится, — и все вдруг исчезнет».

Было, как бы не было.

Недавно ездил я в Москву. Это наш древний паломнический путь, освященный первой книгой русской свободы — радищевским «Путешествием из Петербурга в Москву». Сразу очнулся от бреда, как будто из подземной темницы вырвался на Божий свет.

Люди как люди; город как город. Веселые санки скрипят по крепкому снегу, и можно не бояться, что завтра превратится он в черную слякоть. Румяные торговки у Спасских ворот, зазывая в лавочки, предлагают, должно быть, точно такие же, как в XVII веке, вязаные рукавички. И, кажется, пахнет в воздухе старозаветным славянофильским бубликом. Вот-вот встретишь на углу И. С. Аксакова, который скажет мне, как некогда говорил Достоевскому: «Первое условие для освобождения в себе плененного чувства народности — возненавидеть Петербург всем сердцем своим и всеми помыслами своими». Я с ним поспорю, поругаюсь, а все-таки почувствую в нем какую-то родную бабушкину сказку, бабушкину правду. Несмотря на чудовищный декадент-

ский Метрополь и горячий, розово-фиолетовый блеск электрических солнц на белокаменных стенах Китай-города, лицо Москвы все еще напоминает лицо пушкинской няни, Арины Родионовны — «голубка дряхлая моя». Но что-то есть в этой дряхлости юное, вечное, что дает понять, что не отречется она от того, что здесь было. И если Петербург скажет: не было, — то камни Москвы возопиют: было! было!

И вот еще что. Как это ни странно, но в некоторых уголках Кремля я чувствую себя, как на старых площадях Пизы, Флоренции, Перуджии: недаром строили эти соборы и башни, вместе с русскими каменщиками, итальянские зодчие. Я здесь ближе к подлинной святой Европе, чем в Петербурге. И пусть это первое прикосновение русского духа к духу всемирному — слепое, слабое, сонное, для нас теперь уже невозможное, но оно все-таки правдивое, без тех двусмысленных петербургских «кумплиментов» («Приклады како пишутся кумплименты». Спб., изд. 1717 г.), о которых говорит Антиох Кантемир в своих виршах:

Иной бедный, кто сердцем учиться желает,
Всеми силами к тому скоро поспешает;
А пришед кумплиментов увидит немало,
Высоких же наук там тени не бывало.

Ну, тень-то, пожалуй, и была, но именно только тень, сон: «проснется, кому все это грезится, — и все вдруг исчезнет».

Из русской земли Москва выросла и окружена русской землей, а не болотным кладбищем с кочками